

Октябрь

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
Ж У Р Н А Л

7-8

ГИЗ

ГОСЛИТИЗДАТ

1944

Д. ЗАСЛАВСКИЙ

Мечта Чехова

(Заметки)

Вершинин и Тузенбах спорят о смысле жизни. В практических выводах они согласны. Оба говорят о труде, о необходимости трудиться...

Для чего?

Здесь начинается разногласие. Вершинин видит смысл жизни в работе на счастье будущих поколений. Тузенбах решительно отрицает смысл в общественной жизни.

Вершинин говорит:

«...мне кажется, самое главное и настоящее я знаю, крепко знаю. И как бы мне хотелось доказать вам, что счастья нет, не должно быть и не будет для нас... Мы должны только работать и работать, а счастье — это удел наших далеких потомков (пауза). Не я, то хоть потомки потомков моих».

Вершинин глубоко верит в то, что общественная жизнь меняется. Она развивается. Люди идут к лучшему, к счастью. Люди творят эту будущую счастливую жизнь, и в творчестве — счастье человека.

«Мне кажется, — говорит Вершинин, — все на земле должно измениться мало-помалу, и уже меняется на наших глазах. Через двести, триста, наконец, тысячу лет, — дело не в сроке, — настанет новая счастливая жизнь. Участвовать в этой жизни мы не будем, конечно, но мы для нее живем теперь, работаем, ну, страдаем, мы творим ее — и в этом одном цель нашего бытия и, если хотите, наше счастье».

На это Тузенбах возражает:

«Не то что через двести или триста, но и через миллион лет жизнь останется такую же, как и была; она не меняется, остается постоянной, следуя своим собственным законам, до которых нам нет дела или, по крайней мере, которых вы никогда не узнаете...»

Маша спрашивает, какой же в таком случае смысл в жизни? Тузенбах отвечает:

«Смысл... Вот снег идет. Какой смысл?»

По Тузенбаху, жизнь, общественная жизнь не имеет никакого внутреннего смысла. Люди ничего не знают о законах, управляющих жизнью и не могут узнать. Эти законы не подчиняются человеческому знанию. Они сверхъестественны и сверхчувственны. Если и есть счастье в жизни, то только ограниченное, личное счастье человека. Он, Тузенбах, счастлив, потому что любит Ирину и хочет

устроить свою личную и семейную жизнь. Он трудолюбив. Ему немного нужно. Он счастлив. Он облекает свои мысли в философскую форму и говорит:

«...После нас будут летать на воздушных шарах, изменятся пиджаки, откроют, быть может, шестое чувство и разовьют его, но жизнь останется все та же, жизнь трудная, полная тайн и счастливая. И через тысячу лет человек будет так же вздыхать: «ах, тяжело жить!» — и вместе с тем точно так же, как теперь, он будет бояться и не хотеть смерти».

Так сталкиваются в пьесе Чехова два философских мировоззрения. Они непримиримы. Маша говорит, как бы резюмируя спор между Вершининым и Тузенбахом:

«Мне кажется, человек должен быть верующим или должен искать веры, иначе жизнь его пуста, пуста...»

Тузенбах бросает в ответ на это с пренебрежением и самодовольством:

«А я скажу: трудно с вами спорить, господа! Ну вас совсем...»

Философский спор обрывается. Он не доведен до конца. Но его значительность ясна. Это не просто эпизод в пьесе. Расхождение во взглядах — это различие в характерах. Вершинин противоположен Тузенбаху. Не случайно он так обаятелен и своей верой в жизнь, своей душевной красотой, своей чуткостью покоряет Машу. Ирина не любит Тузенбаха, и, конечно, не потому только не любит, что он некрасив, а и потому, что он какой-то чужой, скучный, белесый по всему своему облику, а не только по окраске волос. Как будто ничем особым не выделяется Тузенбах среди других персонажей чеховской пьесы, а он все же всем чужой.

Вершинин и Тузенбах философствуют как дилеттанты. Но совсем не трудно определить и происхождение и характер их позиций. Философия Вершинина активна и реалистична. Она исходит из представления о непрерывном изменении и развитии общественной жизни и о сознательном творчестве людей, народа. Жизнь можно и нужно изменить для того, чтобы люди были счастливы. Человек — в центре философии Вершинина. Когда Вершинин говорит о нем, он видит прежде всего своих потомков. Мысль о том, что он жи-

вет и работает для этого будущего человека, для русского народа, заполняет жизнь самого Вершинина, делает эту жизнь счастливой, хотя и не свободной от страданий.

Откуда Вершинин мог почерпнуть эту свою философию активной борьбы за человека, за народ? Не подлежит никакому сомнению, что корни у этой философии русские. Идут они от Белинского и Чернышевского, а к Вершинину, который говорит о себе, что он книг выбирать не умеет, они могли прийти через русскую литературу, через Толстого и Достоевского, через Некрасова, Щедрина, Островского.

Точно так же не трудно определить, откуда идут корни агностицизма и метафизичности рассуждений барона Тузенбаха. Они восходят к немецкой идеалистической философии, к Шопенгауэру, к Гартману. Эта философия мрачна. Она помещает человека в одном ряду со всеми живыми творениями, отрицает законы социальной жизни и признает только законы биологии. Эта философия бездушна. В какие бы живописные плащи она ни рядилась, она мертва, суха. В ее центре не жизнь человека, не жизнь народа, а смерть всего человечества.

Случайно ли то, что по основным вопросам жизни и деятельности человека, по вопросу о смысле жизни Чехов столкнул Вершинина и Тузенбаха, русского и немца?

Но это не новый спор о смысле жизни у Чехова. Это продолжение того спора о смысле жизни, который был начат задолго до «Трех сестер».

Вспомним небольшую повесть «Огни». Она появилась сейчас же за «Степью». Чехов был ею недоволен и не включал ее в первое полное собрание своих сочинений. Она была встречена недоброжелательно и критикой своего времени. Ее не поняли.

Почему не был удовлетворен «Огнями» сам Чехов? Он писал Шеглову: «Я оканчиваю скучнейшую повестушку. Вздумал пофилософствовать, а вышел канифоль с уксусом. Перечитываю написанное и чувствую сиюминутное от тошноты: противно. Ну, да ничего... Наплюе!»

Это — очень жестокий отзыв о повести. Если бы он был сколько-нибудь справедливым, Чехов не отдал бы ее в печать, в журнал «Северный вестник», где незадолго перед этим была напечатана «Степь». Мы знаем, что «Огни» это одна из наиболее замечательных и значительных повестей Чехова. Она законно занимает теперь место в полном собрании его произведений.

Философствование Чехова в этой повести, конечно, не «канифоль с уксусом». Но это философствование не было понято читателями при первом появлении рассказа, да и самому Чехову, может быть, не все еще было ясно. «Огни» заканчиваются словами «доктора», от чьего имени ведется рассказ: «Да, ничего не поймешь на этом свете!» Эту фразу ставили в вину Чехову его критики, и он оправдывался в письме к Суворину. Он писал: «Пишущим людям, особенно художникам, пора уже сознаться, что на этом свете ничего не разберешь, как когда-то сознался Сократ и как сознавался Вольтер. Толпа думает, что она все знает и все понимает, и чем она

глупее, тем, кажется, шире ее кругозор. Если же художник, которому толпа верит, решится заявить, что он ничего не понимает из того, что видит, то это уж одно составит большое знание в области мысли и большой шаг вперед».

О философском споре в «Огнях» Чехов писал: «Я слышал беспорядочный, ничего не решающий разговор двух русских людей о пессимизме и должен был передать этот разговор в том самом виде, в каком слышал, а делать оценку ему будут присяжные, т. е. читатели. Мое дело только в том, чтобы быть талантливым, т. е. уметь отличать важные показания от неважных, уметь освещать фигуры и говорить их языком».

На всей глубине и важности этих замечаний мы сейчас останавливаться не будем. Скажем только, что в отборе важных показаний от неважных непременно скажется пристрастие художника, и от этого будет зависеть распределение света и тени в его рассказе. Далеко не беспристрастен Чехов и в рассказе «Огни».

Обстановка в этом рассказе: ночь, барак строителей железной дороги в Донецкой степи, огромная насыпь, огни костров, уходящие вдаль. Спорят между собой инженер и студент-практикант. Впрочем, студент только подает краткие скептические реплики. А говорит с большим воодушевлением только инженер.

Его зовут Ананьев. Он говорит о себе: «Я понял, что я не мыслитель, не философ... Бог дал мне здоровый, сильный, русский мозг с задатками таланта...» Спор начался с того, что инженер, выйдя после ужина из барака и глядя на высокую насыпь, умилился и сказал:

«— В прошлом году на этом самом месте была голая степь, человеческим духом не пахло, а теперь поглядите: жизнь, цивилизация! И как все это хорошо, ей-богу! Мы с вами железную дорогу строим, а после нас, этак лет через сто или двести, добрые люди настроят здесь фабрик, школ, больниц и — закипит машина! А?»

Инженер Ананьев думал о будущем и радовался этому будущему. А студенту, его помощнику, картина насыпи и огней напомнила о чем-то далеком, прошлом, библейском. После долгого молчания он сказал:

«— Знаете, на что похожи эти бесконечные огни? Они вызывают во мне представление о чем-то давно умершем, жившем тысячи лет тому назад, о чем-то вроде лагеря амалекитян или филистимлян... Когда-то на этом свете жили филистимляне и амалекитяне, вели войны, играли роль, а теперь их и след простыл. Так и с нами будет. Теперь мы строим железную дорогу, стоим вот и философствуем, а пройдет тысячи две лет, и от этой насыпи и от всех этих людей, которые спят после тяжелого труда, не останется и пыли...»

Эти слова взорвали инженера. Все дальнейшее — его страстный монолог. Он называет мысли студента старческими. Он говорит, что «при таком несчастном способе мышления невозможно никакой прогресс, ни науки, ни искусства, ни само мышление». Если нет смысла в жизни, говорит Ананьев, то «все

эти знания, поэзия и высокие мысли являются только ненужной забавой, праздной игрушкой взрослых детей».

Мало того, философия, отрицающая смысл жизни, прогрессивное движение человечества, разумное творчество в интересах человека и народа,—эта философия, по словам инженера, ведет к аморальности, к бессердечности. Она оправдывает самые низменные поступки. «Наше мышление,—говорит инженер, отрицая смысл жизни, тем самым отрицает и смысл каждой отдельной жизни». Отсюда — отрицание и морали.

Свои положения инженер подтверждает рассказом о том, как он, будучи молод и размышляя о бессмысленности человеческой жизни, холодно, бессердечно и грубо поступил с милой молодой женщиной, надругался над ее душой, бросил ее в такую минуту, когда она нуждалась в дружеской помощи... Этот роман с Кисочкой должен доказать, что живой человек должен быть в центре мировоззрения, что без счастья людей нет действительного смысла в жизни, и отвлеченные противоречия философии разрешаются действенностью любви к человеку.

Студент обрывает философский спор раздражительными словами:

«Все это ничего не доказывает и не объясняет, и все это одно только толчение воды в ступе! Никто ничего и не знает, и ничего нельзя доказать словами».

Мы не назвали имени этого студента, отрицающего смысл жизни. Его зовут барон фон Штенберг. Чехов описывает его так: «Только одни русые волосы и жидкая бородка, да, пожалуй, еще некоторая грубость и сухость черт лица, напоминали о его происхождении от остзейских баронов, все же остальное — имя, вера, мысли, манеры и выражение лица были у него чисто русские».

Ананьев и фон Штенберг, Вершинин и Тузенбах. Приблизительно одна и та же ситуация, один и тот же философский спор. Всего легче и проще было бы объяснить это совпадение случайностью. Вернее, прочно сидел в памяти Чехова образ русского человека, спорящего с немцем о смысле жизни. Что-то было для Чехова важное, характерное в этом споре. В 1888 году существо спора было не совсем ясно для самого Чехова. В 1901 году оно несравненно яснее для писателя. И хотя в «Трех сестрах» действующие лица не столько ведут серьезный философский диспут, сколько философски мечтают, и прежней критике казалось, что это лишь умственное развлечение скучающих интеллигентов, мы теперь совсем по-иному оцениваем столкновение противоположных мировоззрений.

Не трудно заметить, что философия Вершинина носит более продуманный характер, чем философия Ананьева. Отпали рассуждения о старости и молодости. Ананьев не отрицал мысли о пустоте и бессодержательности жизни. Он лишь считал, что дело стариков так думать, и у стариков эти мысли о бессмысленности существования оправданы. А для молодых людей они и вредны и безнравственны. Вершинин не делает уступок подобного рода. Он отстаивает со всей убежденностью свои положения о непрерывном развитии, о смысле исторической борьбы людей во имя счастливого будущего, о ценности человека.

Действенность этой философии, ее реалистичность, гуманитарный ее характер обнаруживаются вполне последовательно. И, со своей стороны, барон Тузенбах не отделяется скептическими репликами, подобно барону фон Штенбергу, а развивает свое учение о бессмысленности исторического процесса. Друг против друга — реализм и метафизика.

Можно ли отрицать, что Чехов хотел подчеркнуть русский характер философии развития, действенности в любви к людям, к народу, стремление к счастью народа?

* * *

Чехов глубоко верил в то, что народ идет к счастью и творит прекрасную жизнь. В этом нет сомнения. Но когда Чехов прибавлял к этому: «через двести-триста лет», тогда видение будущего неизменно расплывалось и становилось настолько неопределенным, что решительно ничего нельзя было сказать о нем. Не трудно было этот оптимизм Чехова рассматривать как скептицизм.

Впрочем, срокам исполнения заветной мечты герои Чехова не придают особого значения. Двести или триста лет, говорит Вершинин, а может быть и тысяча лет: сроки не имеют значения. С Вершининым позволительно не согласиться. Двести лет или тысяча — это существенно важно. Инженер Ананьев считает, что в тех местах, где он строит железную дорогу «этот лет через сто или двести» будут настроены фабрики, школы, больницы и «закипит машина!»

Для того, чтобы в местах, где проведена железная дорога, «закипела машина» капиталистической культуры, не нужно столетий. Достаточно были во времена Чехова десятилетия. Машина и закипела в этих местах гораздо скорее, чем предполагал герой Чехова и, может быть, сам Чехов. Стоит, кстати, заметить, что такую картину будущего развития культуры Чехов нарисовал на исходе 80-х годов прошлого века, когда народничество, будучи еще в силе, решительно отрицало приход культуры вместе с фабриками и относилось враждебно и к железным дорогам и к фабрикам.

Мечта инженера Ананьева исполнилась скорее, чем он предполагал. Была ли это и мечта самого Чехова? Нужно ли говорить, что писатель смотрел на будущую жизнь более широко, чем инженер Ананьев, и что представление Чехова о прекрасной жизни не исчерпывалось фабриками, школами и больницами.

Чехов избегал разговоров о содержании своего общественного идеала. Жизнь будет прекрасна, но чем именно? Каковы будут общественные отношения? Чехов относил рассуждения в этой области к «публицистике», а публицистику считал для себя делом посторонним. Когда Суворин указывал ему на публицистические элементы в его рассказах, Чехов с некоторым раздражением отвечал, что он не публицист и что не его дело разбираться в делах общественных, политических.

Но хотел того или не хотел Чехов,—все его произведения густо насыщены публицистикой. Рассказ «Именины» вызвал упреки Чехову в том, что он враждебно относится к либерализму, к заветам 60-х годов. Чехов

в ответе Плещееву с такой резкостью напал на эпигонов демократизма, на людей, ополчавших 60-е годы, что тем самым выдал свои собственные симпатии к демократизму Чернышевского и Добролюбова. Известно письмо, написанное Чеховым после смерти Щедрина. Оно поражает своей критической глубиной. Либеральный лагерь ценил Щедрина за сатирическое обличение русской реакции, за «Историю одного города», за осмеяние помпадуров... А Чехов силу щедринской сатиры усматривал прежде всего в злом, беспощадном изобличении либеральной интеллигенции.

«Я не либерал, не консерватор», — писал о себе Чехов. Конечно, он не был консерватором, хотя помещал одно время свои рассказы в «Новом времени» и был дружен с Сувориным. Чехов не был либералом. Он отстаивал для себя какое-то совершенно беспартийное положение среди борющихся в его время кружков, партий, групп. Это совершенно естественно для того времени, когда писал Чехов. Прогрессивный лагерь после закрытия «Отечественных записок» был представлен нотовичами и традовскими, либералами из «Русской мысли» и т. п. К ним Чехов относился с нескрываемым презрением. Были эпигоны народничества, с Михайловским во главе, Чехов знал цену им. Их самодовольная ограниченность отталкивала его. В 1889 году он летом встретился с В. Воронцовым, светилом народничества, писавшим под псевдонимом В. В. В письме к Плещееву Чехов набросал мастерский портрет этого убогого экономиста, ставшего позже мишенью для ядовитого обстрела марксистской критики: «К Линтваревым приехал полубог Воронцов, — очень вумная, политико-экономическая фигура с гиппократовским выражением лица, зенно молчащая и думающая о спасении России... Человечина угнетен сухою умственностью и насквозь протух чужими мыслями, но по всем видимостям малый добрый, несчастный и чистый в своих намерениях...»

Это — психологическая характеристика. Но не только своей ограниченностью народники-эпигоны были далеки и несимпатичны Чехову. Все их представление о русском народе было чуждо ему. Сентиментальность и слащавость народников 80-х годов, их узость и фальшь противоречили правдивости Чехова, как писателя реалиста. Он не мог принять ни учения о природной склонности русского крестьянина к социализму, ни учения о все-спасающей роли русской интеллигенции. Он лучше знал и крестьянина и интеллигента, чем народники из кружка Михайловского.

Было еще толстовство, ставшее даже модным учением в 80-е годы. Чехов относился отрицательно к моральной толстовской проповеди.

Вера в общественное развитие, в грядущее счастье народа, в творческую деятельность ради народного блага должна была внести «публицистику» в произведения Чехова. И она действительно появляется в первых же повестях, которыми Чехов начинает свою деятельность, как серьезный, большой писатель.

Картины природы так прекрасны в «Степи», что критика на них преимущественно и оста-

навливалась. О «Степи» писали и теперь пишут так, как если бы в повести были только поля, только рассветы и закаты, только гроза. Когда «Степь» впервые появилась в печати, то она всех пленила своим степным ароматом. Михайловский отметил это, но нашел, что в повести нет никакой ясно выраженной идейности, что это просто прогулка, и что Чехов безразлично относился к людям и к явлениям.

Михайловский ничего не понял и не заметил. «Степь» наполнена глубоким общественным содержанием. Она волнует не только замечательными описаниями природы, а и замечательными образами интереснейших людей. Это — картина развивающегося капитализма в России, вызвавшего новые сложные явления. Вопрос о справедливости общественных отношений поставлен в повести. Этот вопрос занимает мальчика Егорушку, но нельзя оторваться от впечатления автобиографичности, когда читаешь «Степь».

Уже на первых страницах повести появляется фигура Варламова, богатейшего предпринимателя, который «кружится» в степи. Он — всюду. Он стал необходимой принадлежностью степного пейзажа. Варламову принадлежит и эта степь, и все люди, на ней находящиеся. Таинственная в представлении мальчика эта власть одного человека. Кто он, этот неведомый Варламов? Люди понижают голос в его присутствии. Он нужен сказочной графине Драницкой. Все боятся Варламова, все, кроме смешного, жалкого молодого еврея Соломона. Его называют безумным, над ним издеваются, как над душевнобольным. Но он в действительности не болен. Он владеет огромной силой презрения к богатству, к наживе, к эксплуатации.

Соломон сжег в печи шесть тысяч рублей, все полученное им наследство. С тех пор он и прослыл безумным. У него спрашивают, что он делает. Он отвечает:

«Вы видите: я лакей. Я лакей у брата, брат лакей у проезжающих, проезжающие лакей у Варламова, а если бы я имел денег десять миллионов, то Варламов был бы у меня лакеем.

— То есть почему же это он был бы у тебя лакеем?

— Почему? А потому, что нет такого барина или миллионера, который из-за лишней копейки не стал бы лизать руж у жида пархатого. Я теперь жид пархатый и нищий, все на меня смотрят, как на собаке, а если б у меня были деньги, то Варламов передо мной ломал бы такого дурака, как Моисей перед вами».

Из всей этой тирады собеседники Соломона поняли только то, что он равняет себя с Варламовым. Это было не только противостоительно, по их понятиям, но и неблагонадежно. Торговец Кузьмичев строго спрашивает:

«— Как же ты, дурак этакой, равняешь себя с Варламовым?

— Я еще не настолько дурак, чтобы равнять себя с Варламовым, — ответил Соломон, насмешливо оглядывая своих собеседников. — ...Вся жизнь у него в деньгах и в наживе, а я свои деньги спалил в печке. Мне не нужны ни деньги, ни земля, ни овцы, и не нужно, чтоб меня боялись и снимали шапки,

когда я еду. Значит, я умнее вашего Варламова и больше похож на человека!»

Замечателен образ Соломона, но еще замечательнее то, что Чехов с исключительной проницательностью подметил характерные явления в современной ему жизни. Социальные противоречия были ему знакомы. Контраст между богатством вновь испеченных миллионеров и нищетой крестьян, между неограниченной властью Варламова и приниженностью корчмаря, между холопством в быту и гордым протестом одинокого уездного интеллигента,— это будоражило душу молодого Чехова, и он в этой повести, ставшей порогом его литературной деятельности, между «Осколками» и большой литературой, поставил вопрос о человеке, о достоинстве человека с такой остротой и силой, которая была совершенно чужда либеральной критике 80-х годов и поэтому была не понята и не замечена. То, что замечательно описана природа южной степи увидели все, и это действительно превосходное поэтическое описание. А то, что не только описано появление и развитие в степи капиталистических отношений, но и вскрыта одна из сторон буржуазных отношений,— это прошло мимо внимания.

Конечно, было бы совершенной нелепостью отыскивать следы марксизма в произведениях Чехова. Не в этом дело. Важно то, что Чехов никогда не был и не мог быть либералом, потому что умом замечательного русского человека и чутьем выдающегося художника-мыслителя он проникал в самую глубину явлений. Как раз тогда, когда была написана и напечатана «Степь», зарождалось в России организованное рабочее движение. Чехов этого не знал. Его жизненный путь проходил очень далеко от пути марксизма. Но общественные отношения его интересовали и волновали. Он многого не знал, но многое видел взором честного художника-реалиста.

В «Степи» есть еще один замечательный образ. Это — Дымов, молодой крестьянин, очень способный, сильный, умный... В нем бродят силы, он обозлен на людей, ему скучно и от скуки он озорует. Вот как показывает его Чехов:

«Русый, с кудрявой головой, без шапки и с расстегнутой на груди рубашкой, Дымов казался красивым и необыкновенно сильным; в каждом его движении виден был озорник и силач, знающий себе цену... Повидимому, он никого не боялся, ничем не стеснял себя...»

Озорство Дымова пугает Егорушку. Мальчик ненавидит этого сильного человека, непонятного в мещанском быту, где крестьяне и рабочие должны быть людьми тихими и покорными. После сцены, в которой обиженный мальчик, как барчонок, кричит: «Бейте его! Бейте его!», Дымов подходит к Егорушке...

«Дымов стал одной ногой на колесо, взялся за веревку, которой был перевязан тук, и поднялся. Егорушка увидел его лицо и кудрявую голову. Лицо было бледно, утомлено и серьезно, но уже не выражало злобы.

— Ера! — сказал он тихо. — На, бей!..

И, не дождавшись, когда Егорушка будет бить его или говорить с ним, он прыгнул вниз и сказал:

— Скушно мне!

Потом, пересаливаясь с ноги на ногу, двигая лопатками, он лениво поплелся вдоль обо-

за и не то плачущим, не то досадующим голосом повторил:

— Скушно мне! Господи! А ты не обижайся, Емеля, — сказал он, проходя мимо Емельяна. — Жизнь наша пропащая, лютая!»

Ни один критик, современник Чехова, не уделил фигуре Дымова должного внимания. А потом, когда появились первые озорники Горького, кажется, никто и не вспомнил, что Дымов это образ чисто горьковский, и, стало быть, Чехов на своем особом, совсем не похожем на горьковский, пути нашел таких же новых и интересных людей.

Несомненно, среди других персонажей «Степи» к Дымову относились такие слова Чехова в письме к Плещееву: «Вы увидите в ней (в «Степи») не одну фигуру, заслуживающую внимания и более широкого изображения».

Плещееву Дымов понравился, «как материал». Чехов в ответе Плещееву раскрыл всю жизнь Дымова, как она представлялась писателю: «Такие натуры, как Дымов, создаются жизнью не для раскола, не для бродяжничества, не для оседлого жития, а прямохонько для революции... Революция никогда в России не будет, и Дымов кончит тем, что сопьется или попадет в острог. Это лишний человек».

Не забудем, когда написаны эти слова: в 1889 году. Заря революции едва-едва брезжила на горизонте. Чехов не верил в нее. Но он увидел новые, зарождающиеся явления в русской жизни. Поэтому впоследствии ему не трудно было и поверить в скорый приход революции.

* * *

Двести-триста лет — срок очень большой, нечего уж и говорить о тысяче лет. Но у Чехова указан срок и более короткий: пятьдесят лет.

Доктор Королев говорит в рассказе «Случай из практики».

«Хорошая будет жизнь лет через пятьдесят, жаль только, что мы не дотянем. Интересно было бы взглянуть».

Рассказ написан в 1898 году. Стало быть, чеховский доктор относил свою будущую «хорошую жизнь» к 1948 году. Это уж срок в пределах возможного предвидения. Конечно, нельзя рассмотреть на таком расстоянии подробности будущего быта, но можно представить себе общие очертания.

Как представлял их себе у Чехова доктор Королев, в словах которого мы вправе видеть отражение мыслей самого Чехова?

Интересна и знаменательна та обстановка, в которой происходит разговор о будущей хорошей жизни. Московский молодой врач приезжает «на практику» в подмосковный фабричный поселок. Больна девушка, дочь владелицы текстильной фабрики. Болезни, в сущности, никакой нет, а есть тоска, рожденная пустотой и бессмысленностью жизни.

На фабричном дворе пять больших корпусов. Королеву кажется, когда он глядит на освещенные окна одного из корпусов, когда он слышит перестукивание и перекличку сторожей, что живет тут на фабричном дворе «сам дьявол, который владел тут и хозяевами, и рабочими, и обманывал и тех и других».

Обман и бессмыслица заключаются в самой сути капиталистических отношений. «Тысячи полторы-две фабричных работают без отдыха, в нездоровой обстановке, делая плохой ситец, живут впроголодь и только изредка в кабаке отрезвляются от этого кошмара... И только двое-трое, так называемые хозяева, пользуются выгодами, хотя совсем не работают и презирают плохой ситец... И выходит так, значит, что работают все эти пять корпусов и на восточных рынках продается плохой ситец для того только, чтобы Христина Дмитриевна могла кушать стерлядь и пить мадеру».

Тут та же картина, что и в «Степи». Все работают, живут скучно, лакействуют для того, чтобы один Варламов «кружился». Но по крайней мере Варламов-то знает для чего он «кружится». Он полон энергии, поглощен приобретательством и уверен в том, что он самый необходимый в степи человек. А на подмосковной фабрике госпожи Ляликовой никто и не «кружится». Наживал состояние покойный Ляликов, своего рода Варламов, а достанется состояние его дочери или внучке, которая проявляет все признаки неврастения и тоскует среди пяти фабричных корпусов.

Королев думает, как бы объяснить богатой девушке, что обречена на уничтожение вся эта бессмысленная жизнь. Он сознается самому себе, что недостаточно подготовлен к решению таких вопросов. Но уж хорошо то, что для него и для других интеллигентных людей возникают такие вопросы, что нет прежнего самодовольства и прежней ограниченности. Поколение Королева не может изменить жизнь, перевернуть ее, устранить бессмыслицу и несправедливость в общественных отношениях, но идут новые поколения, новые люди... Королев говорит:

— «...у родителей наших был бы немислим такой разговор, как вот у вас теперь; по ночам они не разговаривали, а крепко спали, мы же, наше поколение, дурно спим, томимся, много говорим и все решаем, правы мы или нет. А для наших детей или внуков вопрос этот, — правы они, или нет, — будет уже решен. Им будет виднее, чем нам. Хорошая будет жизнь лет через пятьдесят...»

Будет жизнь, в которой не будет безобразной, уродующей людей капиталистической эксплуатации, не будет праздной буржуазии, не будет лишений, нужды, голода, бескультурья, темноты народной, не будет эпидемий, грязи, пошлости... Будет именно та хорошая жизнь, о которой мечтает Вершинин, жизнь нового общества, построенная на свободном, творческом труде...

Это будет социалистическая жизнь. Именно такую жизнь Чехов называл прекрасной, и хотя он не произносил слова «социализм», хотя избегал всякой конкретности в определении понятия «прекрасная жизнь», но все отдельные черты будущего строя этой жизни, рассеянные по произведениям Чехова, складываются в такую прекрасную жизнь, которая возможна только при социализме.

К социализму вела и та философия активного, творческого преобразования общественной жизни, которую Чехов через своих лю-

бимых героев внушал читателю, философия действенного оптимизма, философия широты русского характера. К социализму вела и глубокая, осознанная вражда к миру капиталистических отношений, к пошлости буржуазного общества. К социализму вела и вера в талантливость русского народа, который не примирится с убожеством и скудостью нынешней его жизни и непременно будет искать правды в общественных отношениях и добьется этой правды.

У Чехова до Горького не было близких друзей в литературе. Он сторонился кружков и направлений. Он был «ничей». С Сувориным Чехов резко разошелся, — близость между ними была одной из тех ошибок Чехова, в которых он впоследствии признавался. Толстой был настолько патриархом в литературе, что Чехов мог быть только учеником, поклонником, наследником, любимым сыном, но не равным другом.

Дружба Чехова и Горького была подготовлена всем предшествующим развитием этих великих русских писателей. К знакомству с Горьким на первых порах Чехов отнесся сдержанно. Затем оно стало более тесным. Направление Горького было первым направлением в русской литературе, к которому Чехов стал приближаться, не боясь, того, что он входит в какую-то особую группу писателей, что его будут относить к определенной политической группировке.

Это не случайно. Не только в Горьком, а во всем новом поколении, которое выходило вместе с Горьким на передний план русской истории, Чехов должен был узнать именно тех людей, прихода которых он ждал. Быть может, он не совсем так представлял себе этих людей. Но это были люди, которые уверенно решали вопрос о будущей «прекрасной жизни» и готовили приход этой жизни. Эти люди несли в своих программах, в своих выступлениях, в своих книгах гневный протест против уродства общественных отношений. Это были революционеры-марксисты. Горький звал Чехова к ним, и Чехов изменял толстым либеральным журналам для марксистских периодических изданий и для горьковского издательства «Знание». Конечно, марксисты были для Чехова еще чужими людьми, но он-то не был чужим для марксистов.

Слова о том, что жизнь будет прекрасна, могли казаться либеральным критикам поэтическим выражением чеховского «пессимизма». Для тех, кто подготовлял приход прекрасной жизни, чеховские слова наполнялись совершенно определенным содержанием. То, о чем только мечтали герои Чехова, было для рабочего революционного движения программой практических действий. Только подлинная марксистская критика верно оценила Чехова и только в наше время он стоит перед советским читателем, как великий русский писатель, утверждающий оптимистическую, действительную веру в народ, в развитие русской жизни, в прекрасную жизнь при новых общественных отношениях, построенных на свободном, благородном, чистом творческом труде.